

Лара Вейн

Александрин

18+

Лара Вейн
Александрит

«Автор»

2026

Вейн Л.

Александрит / Л. Вейн — «Автор», 2026

После смерти бабушки двадцатилетняя Мария находит её тайну — серьги с александритом, камнем, который меняет цвет и, кажется, умеет показывать образы. Через неделю серьги крадут, а вор улетает в Лондон. Мария летит следом — с почти пустым кошельком, бабушкиным дневником и номером старого профессора, который знает, что на самом деле случилось в Саянах полвека назад.

© Вейн Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Часть первая. Пустая шкатулка	9
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Лара Вейн Александрит

Пролог

Восточный Саян, август 1974 года

Третьи сутки они шли вверх по реке, и третьи сутки река не давала им ничего, кроме холода.

Вода в этом притоке Оки была такой прозрачной, что дно казалось ближе, чем было на самом деле. Света поняла это в первый же день, когда шагнула с валуна, рассчитывая уйти по колено, и ушла по пояс. Глеб хохотал так, что эхо долго гуляло между склонами, а Аркадий молча протянул ей руку, вытащил на берег и потом весь вечер сушил у костра её портянки, развешивая их на рогульках с такой сосредоточенностью, будто это были образцы для музейной витрины.

Теперь она уже не ошибалась. Ноги сами находили устойчивые камни, глаз сам отличал глубокую воду от мелкой по едва заметной разнице в цвете: там, где зелень густела до бутылочной, лучше было не соваться. Двадцать четыре года, третий полевой сезон — и тело наконец начинало понимать горы раньше, чем голова.

Шли вчетвером. Впереди, ведя в поводу двух навьюченных лошадей, шагал Доржи — сойот из Орлика, сухой, невысокий, с лицом, которое солнце и ветер выдубили до цвета старого седла. Он почти не разговаривал, но каждое утро, прежде чем тронуться в путь, брызгал на четыре стороны чаем из кружки, и Света, комсомолка и выпускница геологического факультета Ленинградского университета, смотрела на это без всякой насмешки. В горах всё было немного иначе, чем на Васильевском острове.

За Доржи шёл Глеб Крылов, начальник отряда. Высокий, широкоплечий, с рыжеватой бородой, которую он отпустил ещё в Иркутске и теперь то и дело трогал, словно проверял, на месте ли она. Глебу был тридцать один год, он уже защитил кандидатскую, и в институте поговаривали, что на будущий год ему дадут партию. Сам он говорил об этом так, будто дело решённое. Ходил он быстро, размашисто, не оглядываясь, и у Светы порой возникало чувство, что он не ведёт отряд, а убегает от него.

Последним шёл Аркадий. Он вечно отставал: то нагибался к осыпи, то вертел в пальцах какой-нибудь неприметный голыщ, подносил к глазам лупу на шнурке, хмыкал и прятал находку в холщовый мешочек. Аркадий Чернов был минералогом, на три года старше Светы — худой, сутуловатый, в очках с треснувшей дужкой, перемотанной синей изолентой. Глеб звал его «профессором», и звал не по-доброму, а Аркадий в ответ только улыбался краешком рта.

Света шла посередине, между ними. Это было, пожалуй, самым точным описанием её положения в отряде.

* * *

Искали они хром. Вернее — то, что хром оставляет после себя, когда земля миллионы лет мнёт, плавит и перекладывает породы, как хозяйка тесто. Изумрудно-зелёные хромовые диопсиды, хромсодержащие гранаты, а если очень повезёт — хризоберилл. Где-то выше по течению, по расчётам Глеба, должен был выходить к поверхности контакт ультраосновных пород с гнейсами, и вода за тысячи лет должна была вынести вниз, в косы и россыпи, крупницы того, что там рождалось.

Должна была. Но три дня река приносила только кварц, слюду да серые окатыши гранита, и от этого у Глеба с каждым вечером темнело лицо.

— Ещё день, — сказал он на третий вечер, глядя в огонь. — Если завтра пусто — поворачиваем. У меня сроки.

— Выше будет каньон, — негромко сказал Доржи, ни к кому не обращаясь. — Лошади не пройдут.

— Значит, лошадей оставим.

Аркадий поднял глаза от блокнота.

— Глеб, по карте там излучина, километрах в четырёх. Широкая коса. Если река что-то и несёт, то оседать оно должно там.

— Был я на той косе вчера, пока вы с Ковалёвой пробы паковали, — отрезал Глеб. — Пустая. Галька да песок.

— Ты её прошёл или промыл?

Глеб посмотрел на Аркадия так, что Свете стало неловко за них обоих.

— Я, профессор, двенадцать сезонов в поле. Я пустую косу с берега вижу.

Больше об этом не говорили. Но ночью, лёжа в палатке и слушая, как река перекачивает камни где-то в темноте, Света думала про ту излучину. Ей почему-то казалось, что река зовёт туда — не словами, конечно, а самым своим голосом, низким, упорным, похожим на гудение натянутой проволоки. Глупость. Она перевернулась на другой бок, натянула спальник до подбородка и уснула.

* * *

Утром Глеб решил идти вверх, к каньону, — проверить, проходим ли он, — и взял с собой Доржи. Аркадию и Свете он велел остаться в лагере и разобрать вчерашние пробы.

— А излучина? — спросила Света.

— Да хоть всю перекопайте, — бросил Глеб через плечо. — Только чтобы к обеду пробы были описаны.

Пробы они описали за час. Потом Аркадий посмотрел на Свету, Света посмотрела на Аркадия, и оба, не сговариваясь, взяли лотки.

До излучины шли по береговым камням, мокрым и скользким от утренней росы. Солнце поднялось над хребтом, ударило в воду, и река вспыхнула вся разом, от берега до берега, так что пришлось сощуриться. Над водой поднимался лёгкий пар. Пахло мокрым камнем, багульником и чем-то ещё — свежим, острым, как воздух после грозы.

Коса и правда была широкая. Река, огибая скальный выступ, теряла здесь силу и выкладывала на внутреннем берегу длинный пологий язык из гальки, песка и крупных валунов. Глеб был прав: на первый взгляд — пусто. Серое на сером.

Они разошлись. Аркадий ушёл в верхний конец косы, Света — в нижний, туда, где у самой воды торчал из гальки огромный, с избу, валун, обросший рыжим лишайником. Она сама не знала, почему пошла именно туда. Ноги понесли.

Первый лоток — ничего. Второй — несколько чёрных зёрнышек магнетита, ерунда. Третий она набрала у самого подножия валуна, с той стороны, где течение, обтекая камень, выбило под ним небольшую яму, а потом, ослабев, выложило за ней тонкую плотную подушку из тяжёлого песка и мелкой гальки.

Она крутила лоток, сливая лёгкую муть, и вдруг замерла.

На дне, среди чёрного шлиха, лежало что-то зелёное.

Не яркое — нет. Глухое, тёмное, цвета еловой хвои в тени. Света наклонила лоток, давая воде уйти, и подцепила находку пальцами. Кристалл. Неправильный, обломанный, размером с крупную фасолину, с одной стороны гладкий, словно отполированный рекой, с другой — с острыми, свежими гранями.

Она подняла его к глазам. На солнце он был зелёным — чистым, прозрачным, с голубоватым отливом в глубине. Хризоберилл? Слишком тёмный. Диопсид? Слишком твёрдый: она провела им по кварцевой гальке, и на гальке осталась царапина.

— Аркаша, — позвала она, и голос почему-то сел. — Аркаша, иди сюда.

Он пришёл не сразу: сначала дошёл до воды, потом поднял голову, увидел её лицо — и почти побежал, оскальзываясь на мокрых камнях.

Пока он шёл, Света снова опустила лоток в яму под валуном. Руки делали это сами, без её участия, будто знали что-то, чего не знала она. Песок, вода, круговое движение — и на дне второй кристалл. Чуть крупнее первого. Почти такой же формы. Она взяла его другой рукой, поднесла к первому — и оба обломка сошлись свежими гранями, как две половинки разломанного пряника. Ровно. Без зазора.

Это был один камень. Когда-то — может быть, тысячу лет назад, а может быть, прошлой весной, в половодье, — река ударила его о валун и расколола надвое. А потом, словно пожалев, положила обе половинки рядом, в одну и ту же яму, под один и тот же камень.

Аркадий опустился рядом с ней на корточки. Взял одну половинку, долго смотрел через лупу. Потом поднял на Свету глаза, и за стёклами очков в них было что-то, чего она прежде никогда у него не видела.

— Света, — сказал он очень тихо. — Ты знаешь, что это?

— Догадываюсь, — прошептала она. — Но боюсь сказать.

— Скажи.

— Александрит.

Аркадий кивнул.

Слово повисло над водой. Александрит — хризоберилл с примесью хрома, камень, который нашли на Урале в тридцать четвёртом году прошлого века и называли в честь наследника престола. Камень, который днём бывает зелёным, а при свечах — красным. Камень, который в коллекции их института был представлен тремя мелкими мутноватыми зёрнами, и над теми зёрнами тряслись. А здесь, на её ладони, лежали две половинки кристалла такой чистоты, что сквозь них можно было бы читать.

— Но здесь же не может быть... — начала Света.

— Значит, может, — сказал Аркадий. — Значит, где-то выше. Глеб был прав насчёт контакта, только искал не там. — Он помолчал. — И косу эту он не промыл.

Света сжала камни в кулаке. Сначала они были холодными, как речная вода, — а потом, через несколько секунд, она почувствовала, что они теплеют. Быстрее, чем могли бы согреться от руки. Будто внутри у каждого зажгли по маленькой спичке.

— Аркаша, — сказала она и сама удивилась своему голосу. — Он тёплый. Он... живой. Аркадий не засмеялся. Он вообще никогда над ней не смеялся.

* * *

Глеб вернулся под вечер — мокрый, злой, с ободранными ладонями. Каньон оказался непроходим, а Доржи наотрез отказался вести лошадей по карнизу над водой. Глеб сел у костра и долго молча пил чай из закопчённой кружки. Только когда кружка опустела, Аркадий сказал:

— Глеб. Покажи ему, Света.

Она развернула платок.

Солнце уже ушло за хребет, лагерь лежал в синей тени, и единственным светом был костёр. И в этом свете — Света даже вздрогнула — камни были не зелёными. Они были красными. Густо, тяжело красными, как вишнёвый сок, как вино в стакане против лампы, как кровь, проступившая из царапины. Огонь плясал в них, и казалось, что он не отражается в камне, а горит внутри.

Доржи, сидевший поодаль, коротко сказал что-то на своём языке и отвернулся.

Глеб смотрел долго. Потом взял одну половинку, повертел в пальцах, провёл ногтем по свежему излому.

— Где? — спросил он.

— На косе, — сказала Света. — Под большим валуном, у самой воды.

Что-то дрогнуло в его лице. Едва-едва — словно по воде прошла рябь от брошенного камешка. Потом Глеб положил обломок обратно на платок и хмыкнул.

— Расколотый, — сказал он. — Трещина по всей длине, гляди. Ни огранщик, ни фонд такое не возьмут. Для коллекции нужен целый кристалл, с габитусом, а это — брак. Обломки.

— Глеб, — медленно сказал Аркадий, — ты понимаешь, что это значит для района? Если здесь александрит...

— Если здесь александрит, — перебил Глеб, — то он выше, в коренных. А до коренных мы в этом сезоне не дойдём — каньон. Значит, в отчёт пойдёт так: «В аллювии притока отмечены единичные обломки хризоберилла, предположительно разновидности александрит». И рекомендация на следующий год. Под моей фамилией, как начальника отряда. Это ясно?

— Ясно, — сказала Света.

— А это, — Глеб кивнул на платок, — выброси. Или оставь себе на память, мне всё равно. В фонд я обломки не потащу, засмеют.

Он встал и ушёл к палатке. Аркадий долго смотрел ему вслед, потом перевёл взгляд на Свету.

— Он сам не верит в то, что сказал, — тихо проговорил он. — Ты понимаешь?

— Понимаю.

— Я запишу в дневник. Что он велел. Слово в слово.

— Зачем?

Аркадий пожал плечами и не ответил. Только снял очки и долго протирал их краем штормовки, хотя они были чистыми.

* * *

Ночью Света не спала. Лежала в спальнике, слушала реку и держала камни в кулаке — обе половинки, сложенные вместе, так что они снова стали одним целым. Камни так и не остыли.

Под утро, когда брезент палатки начал сереть, она выбралась наружу, присела у прогоревшего костра и раскрыла ладонь. Угли ещё тлели, и в их слабом свете камень был тёмно-бордовым, почти чёрным. Света поднесла его к глазам — сама не зная зачем, просто чтобы посмотреть.

И увидела.

В глубине камня, там, где сходились две половинки, мелькнуло что-то. Очертание. Человеческая фигура — неясная, как сквозь толщу воды. Девушка. Тёмно-русые волосы с рыжиной, собранные кое-как, лицо, склонённое над чем-то, что она держала в руках. Свете показалось — она могла бы поклясться, — что у девушки её глаза. Её, Светины, серые, чуть раскосые глаза, которые мама называла «саянскими», хотя ни мама, ни бабушка никогда в Саянах не бывали.

Света моргнула — и фигура исчезла. Был просто камень. Угли. Предраассветный холод, от которого немели пальцы.

Она долго сидела не шевелясь. Потом завернула камни в платок, положила в нагрудный карман штормовки и застегнула пуговицу.

За спиной зашуршал брезент. Света обернулась. Глеб стоял у входа в свою палатку и смотрел на неё. Просто смотрел — молча, не мигая, — и в сером рассветном свете его лицо казалось вырезанным из того же камня, что и окрестные скалы.

Потом он отвернулся и пошёл к реке умываться.

Света приложила ладонь к карману. Камни были тёплыми.

Она ещё не знала, что этот взгляд будет идти за ней всю жизнь. И что он переживёт её саму.

Часть первая. Пустая шкатулка

Глава 1. Разбор вещей

В комнате пахло пылью и старым чаем.

Чай был бабушкин — чёрный, с чабрецом, который она каждое лето собирала на даче в Сиверской и потом сушила на газетах, разложенных по всему подоконнику. Хранился он в жестяной банке из-под индийского чая со слонем, и запах его так въелся в стены, в обивку кресла, в корешки книг, что Мария, наверное, узнала бы его через двадцать лет, с закрытыми глазами, на другом конце света. Банка до сих пор стояла на подоконнике. Мария так и не решилась её убрать.

Она сидела на полу среди разобранных и неразобранных коробок, подогнув под себя ноги, и колени давно затекли, но встать она не могла. Не потому, что не было сил, — силы как раз были, странные, лихорадочные, какие бывают в три часа ночи перед экзаменом. Просто встать означало решить, куда идти дальше, к какой коробке, к какому ящику, к какой стопке. А каждое такое решение было маленьким предательством.

Вещи бабушки, Светланы Петровны Ковалёвой, лежали вокруг неё, как остатки отступившего войска. Целая жизнь, разложенная по стопкам одежды, перевязанная бечёвкой, спрессованная в пачки фотографий и писем. Всё, что семьдесят шесть лет было связано с одним человеком, — его руками, его привычками, его памятью, — теперь вдруг рассыпалось на отдельные предметы, ничьи, бессмысленные, как буквы, выпавшие из слова.

Вот полевая сумка — кирзовая, с медной пряжкой, с вытертым до белизны ремнём. Мария помнила её столько же, сколько помнила себя: в детстве она забиралась в неё целиком, ногами, и бабушка таскала её так по квартире, приговаривая: «Образец номер один, Ковалёва Мария, порода редкая, характер вредный». Вот геологический молоток с деревянной ручкой, потемневшей от ладоней. Вот лупа на кожаном шнурке. Вот карты — десятки карт, топографических и геологических, сложенных гармошкой, с пометками карандашом на полях, с цифрами, стрелками, кружочками, понятными одной только бабушке.

И камни. Камни были везде.

На книжных полках, между томами Ферсмана и Пушкина, лежали друзья горного хрусталя, срезы агатов, похожие на кольца древних деревьев, куски зелёного малахита с Урала, тяжёлые, как утюги, тёмные пластинки слюды, которые можно было расщеплять ногтем до прозрачности. На подоконнике, рядом с банкой чая, — кусок лабрадора, который, если повернуть его к свету, вспыхивал синим и золотым, будто внутри у него было северное сияние. Под каждым камнем лежала бумажка, исписанная бабушкиным почерком: название, место, год. «Кварц дымчатый. Приполярный Урал, 1969». «Агат. Тиман, 1971». «Яшма. Южный Урал, 1983 (с Машенькиной мамой)».

Мария взяла эту бумажку и долго держала в руках. «С Машенькиной мамой». Мама тогда была ещё школьницей — бабушка взяла её на летнюю практику, и мама потом всю жизнь вспоминала, как её укусил овод прямо в веко и она три дня ходила с одним глазом, «как пират». Мария не помнила, кто ей это рассказывал — мама или бабушка. Теперь спросить было некого.

Она положила бумажку обратно под яшму.

* * *

Девять дней прошли позавчера.

Элла Ивановна, соседка по лестничной площадке, напекла пирогов с капустой и с яйцом, пришли две бабушкины подруги из института — старенькая Нина Сергеевна, опиравшаяся на

палку с резиновым наконечником, и Тамара Аркадьевна, громкая, в рыжем парике, — посидели на кухне, выпили по рюмке кагора, повспоминали. Нина Сергеевна плакала тихо, промокая глаза бумажной салфеткой, Тамара Аркадьевна рассказывала, как в семьдесят девятом они со Светой застряли на Кольском, когда у вертолѐта что-то сломалось, и неделю ели одну тушёнку и морошку, и как Света тогда сказала: «Девочки, это не авария, это бесплатный отпуск». Все смеялись. Мария тоже смеялась, а потом вышла в ванную, включила воду и долго стояла, глядя на своё отражение в зеркале, не узнавая его.

Потом все ушли, и квартира снова стала тихой.

Эта тишина была хуже всего. Мария прожила в этой квартире на Большой Пушкинской тринадцать лет — с тех пор, как ей исполнилось семь, — и за все эти годы здесь никогда не было по-настоящему тихо. Бабушка не умела жить беззвучно. Она слушала радио — «Орфей» или новости, неважно, лишь бы говорило. Она разговаривала с цветами на подоконнике, с чайником, с газетой («Ну и что ты мне врѣшь?»), с соседским котом, который приходил по карнизу и сидел снаружи на отливе, требуя колбасы. Она напевала, моя посуду, что-то из Пахмутовой, всегда фальшиво и всегда с удовольствием. Она стучала в стенку Элле Ивановне, если у той слишком громко работал телевизор, и Элла Ивановна стучала в ответ, и это был их отдельный, никому не понятный язык.

Теперь квартира молчала. Только холодильник иногда вздрагивал на кухне, начиная гудеть, и от этого Мария каждый раз вздрагивала тоже.

* * *

Телефон завибрировал на полу рядом с коленом. Мария посмотрела на экран. «Папа».

Она подождала три гудка, прежде чем ответить. Не потому, что не хотела говорить, — просто ей нужно было время, чтобы собрать голос, сделать его ровным и взрослым, таким, каким, по мнению отца, должен был говорить человек, у которого всё под контролем.

— Привет, пап.

— Маша. Привет. — Голос у отца был тот же, что и всегда по телефону: чуть громче, чем нужно, чуть бодрее, чем нужно, будто он говорил не с ней, а на совещании. — Ну как ты там? Держишься?

— Держусь.

— Я тебе денег перевёл, посмотри. На всякие расходы. Похороны, поминки, мало ли.

— Спасибо. Похороны уже прошли, пап.

Пауза. Мария слышала в трубке, как где-то далеко, в новосибирской квартире, работает телевизор и детский голос что-то спрашивает — её единокровный брат Тимофей, которого она видела три раза в жизни. Тиме было шесть. Он, наверное, даже не знал, что у него есть сестра.

— Я знаю, — сказал отец. — Я хотел приехать, ты же понимаешь. Но с работой сейчас...

— Я понимаю.

— Маш. Ты подумай вот о чём. — Голос отца стал серьёзнее, деловитее, и Мария заранее знала, что он сейчас скажет. — Квартира ведь теперь твоя. По завещанию, Светлана Петровна же всё на тебя оформила. Трёшка на Петроградской — это деньги, и серьёзные. Я не говорю продавать сейчас, нет. Но подумай. Можно продать, купить что-то поменьше, остальное положить. Или вообще — переезжай к нам. Здесь тоже университет есть, переведёшься. Лена не против. Будешь с семьёй.

«С семьёй», — повторила про себя Мария. С Леной, с которой она за все годы обменялась, может, десятком фраз. С Тимофеем, который её не знает. С отцом, который ушёл, когда ей было три, и потом приезжал раз в два года, привозил дорогие подарки не по возрасту и уезжал с явным облегчением.

— Спасибо, пап, — сказала она. — Я подумаю. Но пока я здесь. У меня учёба.

— Ну смотри. Ты взрослая. — Он помолчал. — Светлана Петровна была... сильная женщина. Я её, честно говоря, побаивался.

Мария невольно улыбнулась.

— Она знала.

— Да уж, знала, — отец хмыкнул, и на секунду в его голосе мелькнуло что-то живое, настоящее. — Ладно. Звони, если что. Я серьёзно, Маш. Если что — звони.

— Хорошо.

Она положила телефон экраном вниз и посидела, глядя в стену.

Мама погибла в феврале, когда Марии было семь. Гололёд на трассе под Лугой, встречная фура, которая не удержалась на полосе. Мама ехала с работы на машине своей коллеги, на пассажирском сиденье; коллега выжила, мама — нет. Мария помнила тот день плохо, кусками: как бабушка пришла за ней в школу посреди урока, в незастёгнутом пальто, и как учительница вдруг стала очень ласковой, и как они шли домой пешком через Тучков мост, и бабушка держала её за руку так крепко, что было больно, и молчала всю дорогу. А дома бабушка села на табуретку в прихожей, не снимая пальто, и сказала: «Машенька, теперь мы с тобой вдвоём». И заплакала. Это был единственный раз, когда Мария видела, как бабушка плачет.

С тех пор они и были вдвоём. Отец звонил, присылал деньги, предлагал забрать — и бабушка каждый раз отвечала ему по телефону вежливо, но так, что после разговора у неё по-особенному блестели глаза, как у человека, только что выигравшего партию. А Мария оставалась. Бабушка водила её в школу, потом в музыкалку, из которой Мария сбежала через два года, потом в кружок юных историков при Эрмитаже, из которого Мария не сбежала, потому что там было интересно. Бабушка проверяла уроки, учила различать кварц и полевой шпат, читала вслух «Хозяйку Медной горы» и «Малахитовую шкатулку», а потом, когда Мария выросла, рассказывала уже не сказки, а экспедиции — и эти рассказы были интереснее любых сказок.

Теперь не было ни бабушки, ни рассказов. Была квартира, коробки и Мария посреди них — двадцатилетняя студентка третьего курса истфака, которая уже две недели не была на занятиях.

Телефон снова вздрогнул. На этот раз сообщение.

«Маш, ты как? Завтра семинар у Лаврентьевой, она спрашивала про тебя. Я сказала, что ты болеешь. Если что-то нужно — пиши, я приеду. Обнимаю» — и три сердечка.

Катя. Подруга с первого курса, единственный человек на факультете, с кем Мария могла молчать и не чувствовать неловкости. Катя приходила на похороны, стояла рядом, держала за локоть. Катя звала к себе ночевать, предлагала приехать помочь с вещами. Мария каждый раз отказывалась.

Она напечатала: «Спасибо, Кать. Я нормально. Приду на следующей неделе, честно». Посмотрела на экран, стёрла «честно», отправила.

Потом всё-таки встала. Ноги закололо тысячей иголок, и она постояла, держась за спинку бабушкиного кресла, ожидая, пока пройдёт.

* * *

Нужно было решить с одеждой.

Это было самое тяжёлое. Камни, карты, книги — с ними Мария даже не пыталась ничего делать, всё это останется, она не представляла себе квартиру без них. Но одежда... Бабушкины платья, кофты, юбки, её зимнее пальто с каракулевым воротником, её старая штормовка, которую она не надевала лет двадцать, но и выбросить отказывалась. Всё это пахло ею. Всё это нужно было куда-то деть, потому что хранить одежду мёртвого человека — Элла Ивановна объяснила это с той особенной уверенностью, с какой пожилые женщины говорят о смерти, — «нехорошо, Маша, не по-людски, раздай, пусть носят, ей там легче будет».

Мария не знала, будет ли бабушке «там» легче. Бабушка в «там» не верила — говорила, что геологу верить в загробную жизнь неприлично, он слишком хорошо знает, сколько лет

камням и как мало — людям. Но в церковь иногда заходила, ставила свечку за маму. «Не для неё, — объясняла она, — для себя. Чтобы руки знали, куда деться».

Большой платяной шкаф в бабушкиной комнате Мария разобрала вчера. Сложила платья в пакеты — для церковного прихода на Съезжинской, где собирали вещи для бездомных. Оставила себе только голубую кофту крупной вязки, в которой бабушка ходила дома, и шерстяной платок с кистями. Остальное — отдала. Это было как отрывать пластырь: быстро и не думая.

Сегодня оставался шкаф в прихожей.

Это был не столько шкаф, сколько кладовка: глубокая ниша в стене, закрытая двустворчатой дверцей, выкрашенной той же грязно-белой краской, что и стены. Строили дом ещё до революции, и в нише, кажется, когда-то была печь, а потом печь сломали и устроили на её месте полки. На полках жило всё, что не помещалось в квартиру: банки с вареньем, старые лыжные ботинки, чемодан с ёлочными игрушками, коробки с бабушкиными документами, мешки с какими-то тряпками, стопки полотенец и постельного белья, пожелтевшего от времени.

Мария открыла дверцы и вздохнула. Изнутри пахло нафталином и сыростью.

Она снимала вещи полка за полкой и раскладывала их на полу прихожей. Банки с вареньем — на кухню, Элле Ивановне отдать, она любит смородиновое. Ёлочные игрушки — оставить. Чемодан Мария открыла, увидела стеклянного космонавта и шишку, покрытую серебряной краской, и закрыла снова: потом, в декабре, она решит. Если вообще будет ставить ёлку.

Полотенца лежали на самой нижней полке. Махровые, выцветшие до неопределённого цвета — может, когда-то голубые, может, зелёные. Бабушка никогда ими не пользовалась, но и не выбрасывала: «Пригодятся, мало ли что». Мария вытащила стопку, и та развалилась у неё в руках, обдав облачком пыли. Мария чихнула, сморщилась — и увидела, что за полотенцами, в самой глубине полки, у задней стенки ниши, что-то стоит.

Шкатулка.

Она потянулась и достала её. Простая, деревянная, тёмного дерева — то ли орех, то ли морёный дуб, Мария не разбиралась. Размером с небольшую книгу. На крышке — никакого узора, только гладкое, потёртое по краям дерево и на углу маленькая царапина, будто кто-то задел ножом. Медная защёлка, позеленевшая от времени. Мария провела по ней пальцем. Защёлка была тугой.

Она никогда раньше эту шкатулку не видела. Это было странно: за тринадцать лет она, казалось, облазила в квартире каждый угол. В детстве — в поисках спрятанных конфет и новогодних подарков, в подростковом возрасте — от скуки и любопытства. Она знала, где бабушка хранит деньги (в том Брема, между «Птицами» и «Рептилиями»), где документы (в коробке из-под обуви на антресолях), где старые письма (в нижнем ящике письменного стола). Но эту шкатулку она не видела никогда.

Мария села прямо на пол прихожей, рядом с горой полотенец, и положила шкатулку на колени. Свет здесь был тусклый: лампочка под потолком давно перегорела, и в прихожую попадал только серый октябрьский свет из комнаты, через открытую дверь. Мария нажала на защёлку. Та щёлкнула неохотно, с усилием, будто не хотела открываться. Крышка поднялась.

Внутри, на тёмно-синем бархате, лежали серьги.

* * *

Мария не сразу поняла, что видит.

Сначала — только золото: тусклое, мягкое, червонное, не похожее на нынешнее, жёлтое и блестящее. Тонкая работа: каждая серьга была сделана в виде маленькой ветки с листьями, и листья эти казались настоящими — с прожилками, с чуть загнутыми краями. А в центре каждой ветки, в гнезде из золотых лапок, сидел камень. Крупный, овальный, размером с ноготь мизинца. Зеленоватый — в тусклом свете прихожей он казался почти серым, цвета болотной воды, мутным и невзрачным.

Мария осторожно, двумя пальцами, взяла одну серьгу. Она оказалась тяжелее, чем выглядела. Золото было прохладным.

У бабушки никогда не было украшений. Ну, почти никогда: обручальное кольцо, которое она сняла после смерти деда и носила на цепочке, да простенькие серебряные гвоздики, которые Мария подарила ей на семидесятилетие на свою первую стипендию. Бабушка была геологом. Геологи не носят серьги в маршруте: зацепишь за ветку — порвёшь ухо. Да и потом, в городе, бабушка одевалась так, будто в любой момент может сорваться в поле: брюки, свитер, удобные ботинки. «Красота — в камне, а не на человеке», — говорила она.

Откуда у неё это? И почему — здесь, за полотенцами, в самом тёмном углу квартиры?

Мария поднялась и пошла в комнату, к окну, держа серьгу на раскрытой ладони, как держат птенца.

За окном лежал двор-колодец — жёлтые стены, ржавые водосточные трубы, мокрый асфальт, по которому ветер гонял листья. Небо над крышами было низкое, серое, одинаковое во все стороны. Обычный петербургский октябрь. Но свет из окна был всё-таки дневной, и, когда Мария поднесла серьгу к стеклу, камень изменился.

Он стал зелёным. По-настоящему зелёным — глубоким, прозрачным, с голубоватым отливом в глубине, как вода в горном озере, если смотреть сверху, с обрыва. Серое, мутное ушло, будто его смыло. Камень светился — не отражённым светом, а изнутри, ровно и чисто.

Мария задержала дыхание.

Она не была геологом. Она была историком, и из всех бабушкиных уроков запомнила, честно говоря, немного: кварц царапает стекло, слюда расслаивается, у пирита кубические кристаллы и золотой блеск, за что его называют «золотом дураков». Но про один камень бабушка рассказывала чаще, чем про другие. Мария не могла сейчас вспомнить слов, но помнила интонацию — особенную, тёплую, с которой бабушка произносила его название. Будто говорила о старом друге.

Камень-хамелеон. Днём — изумруд, вечером — рубин.

На письменном столе у окна стояла бабушкина лампа. Старая, настольная, с зелёным стеклянным абажуром и латунной подставкой — такие когда-то стояли в библиотеках. Бабушка не признавала новых ламп. «Энергосберегающие эти ваши, — говорила она, — свет мёртвый. Как в морге. Как будто тебя уже сфотографировали для документа». В лампе по-прежнему горела старая лампочка накаливания — Мария сама покупала их бабушке в хозяйственном на Кронверкском, их оставался последний магазин на весь район.

Мария включила лампу. Тёплый жёлтый круг лёг на столешницу, на стопку бумаг, на ручку с треснувшим колпачком. Мария поднесла серьгу под абажур.

Камень дрогнул.

Это было похоже не на смену цвета, а на движение — как будто внутри что-то повернулось, сдвинулось, проснулось. Зелёный ушёл в глубину, потемнел — и снизу, со дна, поднялся красный. Густой, тёплый, тяжёлый, цвета спелой вишни, цвета вина, налитого в бокал против свечи. Он заполнил камень целиком, и Мария почувствовала — она могла бы поклясться, — что золото в её пальцах стало теплее.

Она стояла и смотрела, не в силах оторваться. Красный переливался, пульсировал едва заметно, в такт чему-то — её собственному сердцу? Ей вдруг показалось, что камень дышит.

И тогда в глубине, в самой сердцевине, мелькнуло что-то.

Тень. Очертание, проступившее сквозь красное, как силуэт сквозь запотевшее стекло. Человеческая фигура — Мария видела её лишь мгновение, полсекунды, не больше, — склонённая, будто над водой. Будто кто-то сидел на корточках у реки и смотрел вниз, на что-то, что держал в руках. Длинные волосы, падающие на лицо. Женщина? Девушка?

Сердце стукнуло глухо и тревожно, где-то в горле.

Мария моргнула.

Камень был просто камнем. Красным, красивым, переливающимся под лампой — но обычным. Никаких теней. Никаких фигур. Отражение, подумала Мария. Блик от абажура. Её собственное лицо, искажённое выпуклой поверхностью. Усталость, бессонные ночи, слёзы — она плакала каждую ночь, тихо, в подушку, а потом засыпала под утро и спала до обеда, и голова была ватной, и мир вокруг казался чуть-чуть ненастоящим, как декорация. Конечно, ей показалось.

Она выключила лампу. Камень снова стал зелёным — спокойным, прохладным, дневным.

* * *

Мария опустилась на пол у стола, прислонилась спиной к тумбе. Серьга лежала у неё в кулаке, и острые края золотых листьев впивались в ладонь. Она не разжимала пальцы.

Шкатулка. Бабушка что-то говорила про шкатулку.

Память поднялась медленно, как вода в половодье, — сначала одна фраза, потом голос, потом всё целиком. Больничная палата. Сентябрь, бабье лето за окном, а в палате всегда серо, будто окна выходили не на улицу, а в другое время года. Бабушкины руки поверх одеяла — сухие, тонкие, с выпуклыми синими венами, руки, которые ещё весной таскали из магазина сумки с картошкой. Её голос, уже слабый, с паузами, чтобы перевести дыхание.

«Машенька, ты эти серьги не продавай. Никому не показывай. И про камень — ни слова. Обещай мне».

Мария тогда кивнула. Она не поняла, о каких серьгах речь, — у бабушки не было никаких серёг, — и решила, что бабушка путается. Лекарства, которыми её кололи последние недели, делали её то сонной, то беспокойной, и иногда она говорила странное: звала маму Марии, путала день и ночь, спрашивала, не уехала ли машина. Врач сказал: это нормально, это от препаратов, не пугайтесь. И Мария не пугалась. Кивала, гладила бабушку по руке и говорила: «Обещаю, ба. Конечно, обещаю».

А бабушка не путалась.

Мария медленно разжала пальцы. На ладони остались красные следы от золотых листьев — тонкие, как отпечатки чьих-то ногтей. Серьга лежала в центре, и камень в ней был зелёным, почти чёрным в тени стола.

Значит, бабушка знала, что Мария найдёт шкатулку. Значит, она прятала её — не просто убрала подальше, а именно прятала, за самыми старыми, самыми ненужными полотенцами, туда, куда никто не полезет. От кого? От воров? Но у бабушки нечего было красть, кроме камней на полках, а камни эти ни один вор не понёс бы — кому нужна дымчатая кварцевая друза с бумажкой «Приполярный Урал, 1969»?

Или — от кого-то конкретного?

«Никому не показывай. И про камень — ни слова».

Не «про серьги». Про камень. Будто серьги были только оправой, только формой, а главное было — внутри.

Мария поднялась, пошла в прихожую и взяла с пола шкатулку. Положила серьгу обратно на бархат — рядом со второй, точно такой же, — и в ту же секунду ей показалось, что обе серьги будто бы успокоились. Глупо, конечно. Металл и камень не могут успокоиться. Но Мария почувствовала это так же ясно, как чувствуют, что в комнате кто-то есть, ещё не обернувшись.

Она провела пальцем по бархату. Он был мягким и чуть потёртым в двух местах — там, где серьги лежали много лет, остались две вмятины, ровные и аккуратные. Сколько лет? Десять? Тридцать? Пятьдесят?

На внутренней стороне крышки, если наклонить шкатулку к свету, можно было разглядеть что-то, выцарапанное в дереве, — тонко, едва заметно, будто иглой. Мария прищурилась. Цифры. «1974». И рядом, ещё мельче, две буквы: «С. К.».

Светлана Ковалёва.

Тысяча девятьсот семьдесят четвёртый. Мария знала этот год. Бабушка часто упоминала его, когда рассказывала об экспедициях, — это был её третий полевой сезон, Восточный Саян, река, по которой они шли вверх три дня. «Красивый был год, — говорила бабушка, и глаза её теплели. — Самый красивый». Но про то, что случилось в Саянах, рассказывала всегда как-то обрывисто, будто перескакивала через что-то, переходила к другому — к Доржи, проводнику, который брызгал чаем на четыре стороны света, к медведю, который однажды ночью разворотил их запасы, к ледяной воде, в которую она провалилась в первый же день. Мария никогда не задумывалась, через что бабушка перескакивает. Ей казалось, что так просто рассказывают старые люди: сбивчиво, с пропусками.

Теперь она задумалась.

* * *

Она не стала убирать шкатулку в свою комнату. Сама не зная почему, поставила её обратно — туда, где нашла: на нижнюю полку ниши в прихожей, в самую глубину, к задней стенке. Только полотенца уже не стала складывать обратно, а сунула шкатулку в картонную коробку, куда собиралась складывать вещи, которые ещё не решила, оставлять или отдавать. На коробке Мария фломастером написала: «Потом». Бабушка прятала шкатулку здесь много лет, и никто её не нашёл. Значит, место надёжное.

Так она подумала тогда.

Вечером она снова сидела на полу в бабушкиной комнате, но уже ничего не разбирала. Просто сидела, обхватив колени руками, и смотрела в окно, где над крышами медленно гасло серое небо. В доме напротив зажигались окна — жёлтые, голубоватые, одно красное, будто там висел абажур из бархата. Где-то внизу, во дворе, хлопнула дверь парадной, и чьи-то шаги простучали по асфальту, удаляясь.

Мария думала о том, как мало знала о бабушке.

Тринадцать лет вместе. Каждый день, каждый вечер. Мария знала, какой бабушка пьёт чай (крепкий, без сахара, обжигающий), какую читает газету (любую, лишь бы спорить), когда ложится спать (после полуночи, всегда с книгой) и как храпит (тихо, будто кот мурлычет). Знала её любимые фильмы, любимые песни, любимые камни. Знала, что бабушка терпеть не может, когда хлопают дверью, когда говорят «ложить» и когда в магазине обвешивают. Знала её смех, её ворчание, её руки.

И не знала про шкатулку.

Сколько ещё было такого, о чём бабушка молчала? Через что она перескакивала, рассказывая о Саянах? Почему её глаза, когда она произносила слово «камень», иногда темнели, будто в них падала тень?

И что, в конце концов, Мария видела там, в глубине?

Почему бабушка так боялась за этот камень?

Мария не знала ответов. Но, засыпая в ту ночь в своей комнате — впервые за две недели не в слезах, а в странном, тревожном, почти лихорадочном напряжении, — она чувствовала: ответы где-то рядом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.